

«КАК МНОГО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ С ОБЕИХ СТОРОН...»

Писатели ФРГ о России и русской литературе

Вступление, составление и перевод с немецкого ЮРИЯ АРХИПОВА

«Кто хочет узнать поэта...»

Долгие годы, правда, узнавать их приходилось, сживая в читалке Библиотеки иностранной литературы. Сами же они были как существа с другой планеты, контакты с коими желательны, но не актуальны.

И вот, благодарствуем, перемены.

Ничего, ребята оказались хорошие, «теплые», как говаривал Пушкин о любомудрах. И мудреные разговоры любят паче живота своего. И живут хорошо, по нашим меркам — так до неправдоподобия. И страна под стать — обильная, сытая, гостеприимная, щедрая. Комфорт, говорят, нивелирует, но какая-то разница в обиталищах и обстании остается и кажется неслучайной. Твердокаменный уют старинного, XVIII века, пале: кавалер былых времен Эрнст Юнгер. В свое время мы, в угоду принципу «кто не с нами — тот против нас», вылили на него ушат грязи. «Ну, вы еще ничего, — добродушно рассмеялся, обмениваясь со мной крепким, офицерским рукопожатием, девяностопятилетний старец, — хоть отдали должное моим мыслям и стилю, в самой же Германии мне доставалось крепче — у нас ведь очень часто все сводят к политике».

Супермодерн с высоченными, тонированными стеклянными стенами, с изящным видом на каменные извивы «того», классического теперь, модерна: по-современному деловой Ханс Магнус Энценбергер. Солидно-строгие бюргерские особняки-корабли с неизменным расположением капитанского мостика — кабинета под самой крышей, откуда виды тоже самые нежные — на синюю гладь Боденского озера: Мартин Вальзер; на тающие в дымке очертания старинного Тюбингена: Вальтер Йенс; на зеленые окраины Гамбурга: Зигфрид Ленц. Точно одинокий степной волк в своей необъятной и какой-то не мюнхенской, а петербургской квартире: Вольфганг Кёппен. А Гюнтер Грасс и впрямь как весенняя птица грач (так его метафоризировал Вознесенский): попался на переплете, в ночном фрайбургском кабачке после неидиллически прошедшей встречи со студен-

тами — потому-то и был, наверное, так возбужден, порывист и краток. И показалось, похож на нашу предприимчивую левую, которая кокетничает его дружбой. Все? Нет, еще симпатяга Веллерсхоф, более умный, чем ухватистый в слове, — как крот в лабиринтах своей сложносочиненной кельнской квартиры...

Встречи получились разной длины и разной окраски. Слывущий нелюдимом Кёппен был тяжело болен, но — спасибо посредничеству Ангелы Мартини из издательства «Зуркамп» — согласился меня принять, и я не стал злоупотреблять гостеприимством, видя, как ему плохо. А вот у Мартина Вальзера провел несколько дней — и о чем только мы не переговорили за трапезами, шахматами, на лесных и озерных прогулках!

Спрашивал всех об одном: что, мол, за страна такая — Россия? (Гоголевское: «Дай ответ...») И какую роль — переходя уже на привычную академическую жвачку — сыграла в их писательском становлении русская литература? И каким представляется им наше культурное — да и политическое — будущее?

Ответы в чем-то очень похожие, а в чем-то и разные. Как они сами.

ВОЛЬФГАНГ КЁППЕН¹

На ваши вопросы я ответил бы одним словом: Достоевский... Россия и Достоевский для меня синонимы. Вряд ли есть в мире другой писатель, который настолько поразил меня и оказал на меня такое влияние. Уверен, что впечатления от прочитанного — проглоченного — в юности Достоевского и сделали меня писателем. Вновь и вновь заглядывать в бездны человеческой души — с тех пор это стало и моим роком. Читал я и других ваших классиков — чтобы снова вернуться к Достоевскому. Книги русских авторов XX века попадали в мои руки скорее случайно, хотя я даже писал о них кое-что в двадцатые —

¹ В «ИЛ» опубликован роман В. Кёппена «Смерть в Риме» (1965, № 10). (Здесь и далее, кроме оговоренных, прим. ред.).

тридцатые годы, когда начинал, я жил в основном рецензиями для газет. Рецензировал, помню, и фильм «Броненосец «Потемкин», который произвел на меня ошеломительное впечатление. Из книг же, отрецензированных мною в то время, самый большой след в душе оставили сборники стихов ваших великих поэтов, покончивших с собой, — Есенина и Маяковского. Запомнились Бабель, Пильняк, Замятин, Олеша. «Вор» Леонова — по-моему, великая книга.

Побывал у вас в шестидесятые годы, но России не нашел — нашел Советский Союз. В прошлом году совершил круиз на советском теплоходе по Индийскому океану. Все на нем было прекрасно — кроме западной публики. И того, что с командой нам не доводилось общаться.

Теперь вот жадно слежу за событиями в вашей стране — по газетам и телевидению. Дай-то Бог...

ХАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР²

Первый вопрос — очень многослойный. И отвечать на него можно на разных уровнях. Начну с самого субъективного. Прежде всего, Россия была, конечно, некоторой мифологической величиной, а не реальностью. В библиотеке моего отца, как всякого бюргера-интеллигента, имелись русские классики, и я прочел их сравнительно рано. Затем в сознание вошла вся эта темная тайна — я ведь родился в 1929 году, — итак, тайна «красных», большевизма. Смутно вспоминается пакт Гитлера — Сталина, который был встречен в Германии с невероятным недоумением. В ореоле таинственности предстал и визит Молотова в Берлин. А потом вдруг в один прекрасный день русские стали «унтерменшами», недолюдками. Последовала эта ужасная война на Востоке, которая детскому сознанию представлялась чем-то вроде кошмарной сказки. Все это наложило на кошмары Достоевского, которого я прочел очень рано, лег в восемь-девять. Общее впечатление — какой-то непонятной жути.

А после войны... Я принадлежу к поколению, на долю которого выпало, так сказать, вывозить накопившийся мусор. И когда я впервые приехал в Советский Союз — а было это в 1963 году, — я приехал туда с совсем иными установками. Для нас послевоенное время — это пора великого труда и очищения. Тогда было важно сказать правду о том, что немцы натворили в России. Ведь многие отрицали свою вину. Этому нужно было противостоять. Это было непросто, но я вовсе не хочу героизировать наше поведение — оно было нормальным, оно было нашей работой. Параллельно демонтировалась и «русская мифология»: разрушался образ врага. И вот в 1963 году я очутился в Советском Союзе — приехал по личным мотивам и сравнительно надолго. Поэтому имел возможность видеть не только «потемкинские» кулисы, не только церемониал парадных приемов в обертке казенных речей — то,

² Подборка стихов Х. М. Энциенсбергера опубликована в «ИЛ», 1966, № 10.

чем зачастую и ограничивались впечатления пришельцев с Запада. Я видел и другую действительность, и это требовало осмысления. Многие приходилось как бы выносить за скобки. Вплоть до 1970 года я бывал в СССР довольно часто, так что впечатления росли и накапливались. Завязывались личные контакты и эксклюзивные знакомства — так, я познакомился даже с Хрущевым. Время было оттепельное, что порождало разнообразные надежды, явно влиявшие и на восточную политику западногерманских властей. Четкой вехой, помнится, стал 1968 год, год резкой вспышки леворадикального движения на Западе, когда на нас вдруг посыпались критические упреки из Советского Союза, со стороны, как мы думали, наших друзей. Ситуация была очень странной, но я не хотел бы сейчас ее разбирать³. Для многих интеллигентов на Западе встал вопрос: как же быть с той моделью социализма, что сложилась в СССР? Очень трудный вопрос, очень. Так и вышло, что в брежневскую эпоху я как-то отдалился от Советского Союза, сохранив только некоторые личные контакты с людьми, знакомство с которыми я считаю удачей судьбы, — с Твардовским, Вознесенским, Бродским. Зато это было время основательного знакомства с русской литературой. Я перечитал многих классиков, особенно основательных своих любимцев — Герцена и Бакунина, увлекся советской литературой 20-х годов, многое пытался читать по-русски. Кое-что и переводил, например Хлебникова. Главной фигурой стал для меня Герцен. Я обрел в нем пророка, который предвосхитил наши сегодняшние проблемы и даже сформулировал их. С одной стороны, это проблемы демократии, в частности диктата посредственности, отсюда — определенной нивелировки. С другой — противостояние авторитарной власти, что объединяло его с Бакуниным. Эта позиция не укладывалась в рамки обычного мелкобуржуазного либерализма, в ней содержались перспективы выхода за пределы, предуказанные буржуазной собственностью. Поэтому можно сказать, что Герцен хотел того, чего человечество еще не достигло. И в то же время он с поразительной точностью сформулировал противоречия, существующие между Россией и Западом, — не в духе славянофильства, но в то же время с глубоким уважением к собственной культуре и истории. Для меня Герцен — самый открытый диалог, наименее догматичный мыслитель. Именно поэтому я подготовил много его немецких изданий и всячески пытаюсь внедрить его в наш интеллектуальный обиход.

Все это, конечно, лишь небольшая часть того, что следовало бы сделать, ибо я полагаю, что нам, немцам, нужно многое пересмотреть в нашем отношении к России, отношении весьма неоднозначном, как неоднозначно, впрочем, и отношение русской культуры к Германии. На всем этом лежит печать политических тенденций времени. Но если заглянуть вперед, хотя бы лет на три-

³ Может быть, по деликатности — ведь интервьюер в те годы в своих статьях в «Литературной газете» не раз «щипал» Энциенсбергера и других «новых левых», в чем, впрочем, не раскаивается до сих пор (Ю. А.).

дцать—сорок, то становится ясно, как много предстоит сделать с обеих сторон. И несмотря на то, что жизнь развеяла уже немало моих иллюзий, в этом отношении я остаюсь оптимистическим реалистом. Перед нами множество возможностей взаимообогащения. Для нас прежде всего это шанс уйти от влиятельного диктата массовой культуры американского образца. И, кто знает, может быть, в итоге нам удастся достичь некоего баланса, который будет иметь не только культурное, но и политическое значение. Хотя все это требует труда и усилий, ведь «холодная война» оставила тяжелое наследие. Подсознание народов, как мне представляется, сейчас преисполнено великого ожидания — что будут решены многие застарелые проблемы. Хотя я, разумеется, не берусь давать какие-либо рецепты по вопросам, не входящим в сферу моей компетенции. Предпочитаю делать то, в чем хорошо разбираюсь — прежде всего занят издательской деятельностью, которая, по моему мнению, служит сближению. Может быть, в наших условиях она не столь эффективна, как у вас, но она в любом случае доходит до так называемых «мненияобразующих» слоев населения и по-своему действует. В дальнейшем же будет видно, что окажется важнее, куда вкладывать энергию и время. Собственно, этой деятельностью я занят всю жизнь, еще в 50-е годы я издал антологию «Музей современной поэзии», куда включил крупнейших поэтов России и Запада. Для этого издания я привлек ведущих славистов и таких выдающихся переводчиков, как Пауль Целан и Петер Урбан. С тех пор я полюбил Хлебникова и Ахматову, увлекся и прозаиками — Бабелем, Пильняком, Всеволодом Ивановым, «Серапионами». От них потянулась ниточка к современникам — Ахмадулиной, Вознесенскому, Бродскому. Этот интерес кажется мне чем-то совершенно естественным, а вот царившее некоторое время отчуждение — чем-то совершенно искусственным. Стоит оглянуться и на историю, которая ясно показывает, что близости всегда было больше, чем отчуждения.

Что до перестройки, то нужно прямо сказать: она — самое обнадеживающее событие нашей эпохи. Капитализм, не будем этого скрывать, сейчас процветает. Но к этому уже как-то привыкли, мир жаждет чего-то нового. Слишком уж скучно царство посредственности. Это не значит, что я готов восторгаться любой новизной, тем более что уже обжегся однажды и не хотел бы снова предаваться иллюзиям. Но ведь то же самое я обнаружил недавно и в Советском Союзе, когда разговаривал там с коллегами: у людей сохраняется трезвый взгляд на вещи. И если кто-то говорит: «У нас еще все впереди, перестройка у нас еще и не начиналась», то это мне импонирует. Импонирует трезвость, без наивных детских восторгов. К ним сейчас склонны, пожалуй, американцы. Вот они в восторге — просто потому, что им нравится Михаил Сергеевич. Это все, по-моему, не очень продуктивно, потому что ситуация ведь может быстро измениться, как меняется она в списке бест-

селлеров, где книги скачут то вверх, то вниз. Но при всем том, что я стараюсь сохранять трезвую голову, я и сам замечаю, что поддаюсь атмосфере восторга, и сообщения из Советского Союза читаю с большей радостью, чем другие газетные статьи. Кроме того, совершенно ведь ясно, что от событий в Советском Союзе многое зависит и в нашей жизни, в жизни всего мира.

Поэтому мне хотелось бы сделать что-то конкретное, что в моих силах. Вот мы основали совместное издательство — на базе издательства «Грени» в Нёрдлингене. Хотим тесно сотрудничать с советскими партнерами, прежде всего с «Прогрессом». Прогрессовская книга «Много не дано» вышла у нас в немецком переводе и имела заметный успех. Но мы вовсе не хотим ограничиваться обычными партнерскими отношениями на основе экспорта-импорта. Нам хочется создать базу для более полного выявления интеллектуального потенциала Советского Союза. Я имею в виду не только писателей, но и историков, искусствоведов, ученых самых разных специальностей, вплоть до геологии. Нам хотелось бы дать этим людям возможность появиться на международной арене. Это не единственная наша цель, но одна из очень важных. Чтобы лучшие умы всех стран могли завязывать контакты между собой, свободно перемещаться по миру. Словом, мы очень надеемся на расширение и укрепление наших культурных связей.

Не могу заодно не высказать и одну претензию к советской стороне. Видите ли, у вас царит дурное обыкновение не посылать зарубежным авторам книги, которые вы у себя переводите и издаете. Эту жалобу я слышал от многих своих коллег. Платите вы тоже далеко не всегда, но это особая статья — и, может быть, в данном случае, не главная: учитывая неконвертируемый рубль и так далее. Но ведь автору всегда хочется хотя бы взглянуть на собственную книгу, изданную в Советском Союзе. Неужели это так трудно наладить? Я понимаю, что это наследие старых времен, когда у вас в течение десятилетий игнорировалось авторское право. Но теперь, в новой обстановке, это выглядит просто некрасивым анахронизмом. Ведь сами по себе высокие слова немногочисленны. Истинное сближение должно начинаться с мелочей.

МАРТИН ВАЛЬЗЕР⁴

Мое знакомство с Россией началось с Достоевского. Хотя, должен признаться, я прочел его слишком рано. Собственно, не прочел — проглотил. Теперь, думаю, пришла пора перечитать его заново. Хотя мои попытки в этом направлении часто разбиваются о качество переводов. Я не в состоянии сравнить их с оригиналом, но мне кажется, что Достоевский переведен на немецкий язык пока еще неудовлетворительно. Особенно это бросилось мне в глаза, когда я сразу после Достоевского

⁴ В «ИЛ» напечатаны роман М. Вальзера «По ту сторону любви» (1979, № 6) и повесть «На полном скаку» (1983, № 8).

взялся за Толстого. Здесь уже и немецкий язык переводов был вполне убедительным. «Война и мир» всегда была для меня важной книгой, и я бы даже сказал — становится все более важной. Не только для меня, но, по-моему, для всей немецкой литературы. Дело в том, что наша проза все еще не создала произведения со столь же убедительной философией истории, а потребность у нас в этом огромная, особенно в XX веке — веке двух мировых войн с роковым участием в них Германии. У нас множество тривиальных романов на эту тему, скандальные споры о ней ведут историки, с их склонностью к крайним точкам зрения. Но вот художественно убедительной и объективной картины исторических событий этого периода нет. Опыт Толстого остается образцовым примером. Как раз историософия «Войны и мира» делает эту книгу в моих глазах куда более значительной, чем «Анна Каренина».

Но есть, пожалуй, русский писатель, который для меня лично был куда важнее, чем Достоевский и Толстой. И его значение продолжает расти. Этот писатель — Гоголь. Увлечение им началось со студенческого театра — в 1946 году мы в Тюбингене ставили «Ревизора». Потом пришло время «Мертвых душ». «Мертвые души» — единственная, пожалуй, в мировой литературе книга, которая сумела устоять в моем сознании и в самый разгар моей кафкомании. В конце сороковых я, знаете ли, был не просто увлечен Кафкой: я был отравлен им. Все книги после Кафки казались мне пресными. Все — кроме написанных Гоголем. Конечно же, я пытался читать все, что было тогда в цене, — Жида, Сартра, Фолкнера и других. Начиная — и бросал. И только Гоголь выдерживал близость Кафки — и значительностью духовной сущности, и плотностью художественного письма. О, я чувствовал, тут не легкое плетение словес, как, например, у Жида, тут та единственная логика внутренней формы, которая только и делает искусство великим. Чичиков — это ведь вечный образ, как и многие другие у Гоголя. И дело не в том, как они задуманы, а в том, как исполнены, — то есть дело в форме.

Сразу за Гоголем идет у меня Чехов. Где бы я ни был, в Германии ли, в других ли странах Европы или Америки, всегда стараюсь попасть на постановки пьес Чехова, особенно если они осуществлены известными режиссерами. Удивительно, Чехов открыл своим творчеством театр XX века — и остался в нем до сих пор самым современным драматургом. Скажем, Беккет в сравнении с Чеховым кажется уже старомодным. Мало кто из писателей сумел настолько опередить свое время. В смысле строгости формы Чехов, пожалуй, самый великий учитель. Хотя, конечно, в области художественных идей дальше всех заглянул Достоевский. Да и «сделаны» некоторые вещи у него с изумительным мастерством, провидящим наше время. Я имею в виду даже не романы, а некоторые его миниатюры, такие, как «Бобок», например.

Должен сказать, что мой интерес к русской литературе никогда не подогревался

другими писателями, писавшими о «святой» русской литературе. Ни Томас Манн, ни Касснер, ни Рильке не оказали на меня никакого влияния. Ничего не дало и чтение книги Стефана Цвейга «Три мастера». Сами тексты русских писателей всегда говорили мне больше. Скорее уж Мережковский оказал некоторое влияние — когда-то в юности я прочел его книгу «Толстой и Достоевский». Но, повторяю, это была прежде всего непосредственная реакция на тексты. Я бы назвал это цепной реакцией, развязанной «обязательным» для всякого образованного европейца романом Достоевского «Преступление и наказание». Затем последовало потрясение от романа «Братья Карамазовы». У меня был друг в школе, с которым мы месяцами читали и обсуждали только «Братьев Карамазовых». Мы с ним и сами стали как братья. Вы только представьте — нам по шестнадцать-семнадцать, идет война, жизнь и смерть в обнимку, и — Достоевский! Как скрепляющая бытие стихия. Это уж не чтение, это эпоха в собственной биографии — «карамазовская» эпоха.

К сожалению, послечеховская русская литература — область, мною еще мало овоенная. Относительно хорошо я знаю Горького-драматурга по многочисленным постановкам. Читал же его только очерки, переписку с Лениным. Из писателей следующего за Горьким поколения сильнейшее впечатление на меня произвел Бабель. Шолохов остался непрочитанным — я было взял его в руки, но потом снова вернулся к Гоголю и Кафке. Набокова читал только один английский роман — «Аду». Эту книгу мне предлагали для перевода, но она не произвела на меня сильного впечатления. Много слышал о «Мастере и Маргарите» Булгакова, но как-то не удосужился до сих пор прочитать. В планах остается и Платонов.

Из моих ровесников более других мне известен Трифонов, с которым мы по инициативе одного журнала обменялись даже «программными» письмами, в Советском Союзе, кажется, не опубликованными. Вот кого я читал много и охотно — как истинно современного реалиста.

Ну а теперь внимание как-то само собой переключилось на политику, на весь комплекс явлений, именуемых перестройкой. Вот я даже приобрел на немецком сборник «Иного не дано». Вы даже представить себе не можете, какое освежающее воздействие на нас оказывают эти явления, какое мы все испытываем облегчение. Если вспомнить то, что было еще недавно, всю эту «холодную войну» между Москвой и Вашингтоном, нельзя не оценить произошедшие сдвиги. Тогда было преошущение какой-то абсурдной катастрофы, и это действовало угнетающе, парализующе. Казалось, чисто романное, научно-фантастическое безумие космических войн вот-вот станет реальностью. А теперь этот фантом развеялся. На этом фоне и нужно оценивать то, что удалось Горбачеву. Как ему удалось, в частности, изменить позицию Рейгана — ведь это просто поразительно! И как быстро на наших глазах побеждают разум и естественность. У меня такое чувство, будто это и моя победа. Я, знаете

ли, никогда не верил, что враждебность заложена в самой природе человека. Мои дети ругают меня неисправимым оптимистом, но что делать, если я не разделяю модных апокалипсических настроений. Апокалипсис, на мой взгляд, — порождение религиозной эпохи в истории человечества. Нет, нет, я ничего не имею против религии, у нее важнейшие заслуги перед человечеством, но ведь нужно смотреть на вещи исторически. В наше время, на мой взгляд, человечество переходит из религиозной эры в эру гуманитарную. И многие представления и предписания прежней эры я воспринимаю как оковы. Нет, по-моему, ничего более парализующего, как представление о предопределенности всего сущего. Поэтому происходящие благодаря перестройке перемены в мире я переживаю очень остро и глубоко верю в их глобальный характер.

Кстати, многие литературные кумиры недавнего прошлого суть, на мой взгляд, порождения этой религиозной эры с ее «тенденцией», пафосом, триверженностью к «стогу», к тому, что должно иметь начало и конец. Таковы, например, Томас Манн и Гессе, все еще оставляющие в тени Роберта Вальзера, который куда основательнее их как художник. А вот Толстой — словно писатель из будущего. Возьмите, например, наши антифашистские романы — ведь они пишутся так, будто фашизм еще существует. Это слишком куца точка зрения. Толстой поднимается на неизмеримо большую высоту. Он описывает заседание военного совета в крестьянской избе с такой философской дистанции — при всей реалистической наглядности картины, — что русские, по-моему, и сейчас могут этим жить. Ибо Толстым постигнута некая парадигма национальной жизни. Вот к этому-то хотелось бы стремиться и в собственной работе.

ДИТЕР ВЕЛЛЕРСХОФ⁵

Толстой, Достоевский, Чехов — вот первое, что приходит мне в голову, когда я думаю о русской литературе. Что же до самой России, то я ведь вырос в нацистское время... Так что в детстве с этой страной связывалось представление о чем-то чужом и опасном. И о чем-то бескрайнем: моя мать почему-то любила читать воспоминания немецких пленных времен первой мировой войны и делилась своими впечатлениями. Постепенно прочитанное, услышанное в кино стало складывать смутный образ какой-то хаотической мешанины из добродушия, бесхозяйственности, психологической усложненности, безжалостной власти, революционной жестокости, нежности Чайковского — всего этого, заключенного в бескрайность лесов, в которых рыщут волки. Добавьте к этому отрывочные представления о тесном переплетении русской и немецкой истории, разные исторические анекдоты вроде янтарной комнаты, подаренной Фридрихом Великим русскому царскому двору в знак благодарно-

сти за спасение его войск и тому подобное. Плюс Гинденбург, битва при Танненберге, прочие мифологемы немецкой доблести, вынесенные из первой мировой войны и, конечно, сильно действовавшие на детское воображение. С другой стороны — далекий отзвук других мифологем: Ленин, Сталин. Все это — как и вообще мое представление о мире — сильно изменилось с окончанием второй мировой войны. Хотя соперничество двух систем сказывалось долго: Россия внушала страх. По-настоящему мы здесь, на Западе, стали избавляться от него только в годы перестройки. Впрочем, когда я недавно в Ленинграде попал на репетицию войск перед парадом, страх этот неожиданно всплыл вновь: как-никак я два года был солдатом на фронте. Так что должен признаться, что на протяжении десятилетий в душе моей существовал раскол между любовью к России, пробудившейся под влиянием русской литературы, и страхом перед Россией.

Русских писателей я взахлеб читал в студенческие годы. Прежде всех — Достоевского, потом Толстого, Гоголя, Чехова. Часто ходил в театр на русские пьесы. Самое большое и глубокое впечатление произвел на меня Толстой — и так это остается до сих пор. Думаю, что и в моем писательском становлении Толстой сыграл решающую роль — наряду с Джойсом, Прустом, Фолкнером. Но влияние Толстого все же решающее. Самое завораживающее в нем — феноменальная чуткость к чувственному миру, психологическая глубина внешне обыденного. Ведь люди у Толстого, что называется, нормальные люди, но насколько же они сложны, объемны и в основе своей бесконечны. Толстой — мастер жизненного континуума, жизненной синкретности, пронизывающей все и все подминающей — даже душу героя, если он вдруг начинает сопротивляться природе. Обыденность у Толстого преисполнена экзотических видений, апофеоз которых — конечно же, небо Аустерлица, которое видит князь Андрей. Самое потрясающее, что эти видения пусты. Глубина пустоты — такое могло даваться только Толстому. Власть химер над жизнью человека, сила иллюзий, незаметно растающих в реальности... Все это поразительно современно. Отсюда ведь и вышло все великое в XX веке на Западе — и Пруст, и Джойс, и Вирджиния Вулф, и Фолкнер. Непроизвольные ассоциации у Пруста, мгновения бытия у Вулф, экзотические мгновения у Фолкнера — все это выросло из Толстого, из его художественных запечатлений неравномерности времени. Поэтому глупо, конечно, изображать Толстого, как это у нас нередко бывает, традиционалистом, чуть ли не ретроградом формы. В то время как он авангарднее любых авангардистов. Во многом архаичен уже и Томас Манн. Но не Толстой. Его видение мира и человека кажется необыкновенно актуальным. И, может быть, самое замечательное в нем — как он борется с собственным маньеризмом, укрощает его, осаживает, но маньеризм все равно вылезает. В таком шедевре, как «Смерть Ивана Ильича», это особенно заметно. Или в мечтах и видениях

⁵ «ИЛ» печатала повести Д. Веллерсхофа (1978, № 2) и его роман «Победителю достанется все» (1986, № 6—8).

Левина. Там необыкновенно тонко схвачены эти моменты бытия человека — великого визионера, сидящего в простом человеке.

Нет, Толстой просто великолепен! И как он вписывается в философию своего и нашего времени. Ведь это ощущение отсутствия смысла жизни, беспочвенности существования преследует всех нас со времен Шопенгауэра и Ницше. Как и эта попытка породить иллюзию, дающую возможность жить. Тут ведь и корень всего современного европейского нигилизма — «Мифа о Сизифе» Камю и так далее. Да и все пограничные ситуации нашей жизни Толстой описал как никто. Вот у меня умирал брат. И я пошел навестить его. А потом стал перечитывать подобные сцены у Толстого — боже, какая поразительная, какая нечеловеческая точность! Ведь он описал до мельчайших деталей все мои ощущения! И этот зоркий и суровый укор в глазах брата: о чем, мол, ты, как ты можешь об этом, как ты вообще можешь жить, когда я умираю. Подобная точность и есть для меня критерий писательского мастерства. И не какая-нибудь холодная, объективированная точность, но такая полнокровная, как у Толстого, когда ты видишь, что автор и сам мучается, сам бьется над проблемами собственного бытия и доходит в них — и как человек, и как художник, и как мыслитель — до пределов понимания, отпущенного человеку.

Что-то очень родственное Толстому привлекает меня и в Чехове. Должен сказать, что я больше люблю драматургию Чехова, чем его прозу. А именно: эти клещи ситуации, которая держит человека. И человек страдает от нее, но как-то не до конца, и тоскует о другой жизни, но какой-то немужественной тоской, и тычется вокруг, как слепой. И тут же рядом кто-то непременно соблазняет видениями будущего, когда все разрешится и все будут трудиться и будут счастливы. И прочие иллюзии в таком же роде. Все это так чудовично! И особенно, что великий писатель, сознавая тщетность этих иллюзий человека, все-таки солидарен с ним. И ведь он прав! Потому что не все ведь в жизни человека безнадежно. Есть творчество, есть удача, есть любовь, дети. Бывают даже и большие общественные свершения — например, ваша победа в войне, она же — наше освобождение от фашизма. Или то, что сейчас происходит в России. Такое впечатление, будто Чехов имеет в виду и это.

Позднейшие впечатления от русской литературы у меня, к сожалению, отрывочны и случайны. Время от времени читаю то, о чем у нас говорят, — Трифонова или Рыбакова. Булгакова? Да, прочел, но у меня не возникло ощущения, что это мой писатель. Конечно, и я заметил, что это талант выдающийся, но ведь я не литературовед, я читаю только тех, без кого не могу обойтись. А без Булгакова я обойтись могу. Вот Набоков — совсем другое дело. Его я прочел целиком. У него есть то, чего я не обнаруживаю у других современных русских, у тех же Трифонова и Рыбакова, их язык — лишь средство для передачи какой-то общественно значимой

информации, не больше. Нет той субъективированности языка, которая делает литературу искусством. А вот Набоков, конечно, настоящий мастер. Как и Замятин, и в некоторых — лирических — местах своей прозы Пастернак. Платонова мне еще предстоит открыть. Хотя, повторяю, мне по душе лишь то словесное искусство, которое преисполнено жизненной точности. Все выдуманное, по-моему, второстепенно. Когда знак теряет суть означенного, приобретает самодовлеющее значение, мне становится скучно. Так все более чуждой мне становится западногерманская литература, где эти тенденции нарастают.

Книга в моем представлении должна быть жизненно необходимой. Ведь я волен выбирать: почитать или отправиться на прогулку. Таким образом, книга должна быть по меньшей мере равноценна прогулке. К сожалению, в мире все больше выходит книг, которые не прибавляют, а отнимают время у жизни. Чего никак нельзя сказать о тех русских, кого я люблю перечитывать. Причем не только близких к жизни прозаиков, но, казалось бы, далеких от них поэтов, как Маяковский и Мандельштам, и еще более далеких от нее культурфилософов и литературоведов, таких, как Бахтин, Шкловский, Тынянов, Лотман — они очень помогают моему пониманию литературы. Из русских эмигрантов меня помимо Набокова более других интересовала Натали Саррот с ее подхваченными у Достоевского мотивами: надрыв, самокопание, смена масок, сдирание их, приросших, с лица, всякие психические изломы и прочее.

Что до моих впечатлений от Советского Союза, то их два, и они очень разнятся. Я был гостем Союза писателей СССР в 1982 году и вынес странное впечатление тотальной скованности и на глубине — невозможности истинного контакта: вас спрашивают о чем-то, но больше о внешнем, формальном, пустом, а на ваши вопросы по существу не отвечают, диалога не возникает. И совсем другая картина была в 1987 году. Разница оказалась сносшибательной. И настолько обнадеживающей, что мне подумалось: если у мира вообще есть надежда, то она заключена именно в тех процессах, которые именуются словами «перестройка» и «гласность». Об этом я говорил и нашим политическим лидерам на одной из недавних встреч правительства с писателями и деятелями культуры в Бонне: возможность сближения между Востоком и Западом, рожденная перестройкой, должна быть энергично и всесторонне использована, ибо только такое сближение сулит народам земли достойное человека существование в будущем.

ГЮНТЕР ГРАСС⁶

Вся русская литература — даже в моей только жизни — поле слишком безбрежное. Позвольте мне ограничиться тремя примерами, оказавшими на меня наиболь-

⁶ В «ИЛ» опубликованы повести Г. Грасса «Кошка и мышь» (1963, № 5) и «Встреча в Тельгте» (1983, № 5).

шее воздействие. В пятидесятые годы, работая над романом «Жестяной барабан», я подолгу жила в Париже и много общался с немецким поэтом, которого теперь уже нет в живых, — с Паулем Целаном. Он в то время переводил русскую лирику. Среди прочего — поэму Александра Блока «Двенадцать», волшебную, на мой взгляд, поэму, музыкой, ладом, языком, смелостью своей совершенно меня поразившую и навсегда врезающуюся в память. Это поистине великое произведение.

Примерно в то же время, может быть несколько позже, я прочел Исаака Бабеля. Его поэтическая, насквозь лиричная проза показалась мне тогда образцовой, заслуживающей пристального изучения. Не могу припомнить, чтобы кто-нибудь еще достигал такого лаконизма, такой концентрации смысла на самом маленьком пятнышке, где сходятся решающие экзистенциальные проблемы и выявляется слом добрых намерений злыми деяниями. Столь лапидарное, и выразительное, и в то же время отнюдь не упрощенное изображение целого переплетения сложнейших и жизненно важных проблем производило ошеломительное впечатление.

И третий пример, может быть, самый естественный — ибо кто же не восхищается Чеховым? Впрочем, мой случай, пожалуй, все же особый. Потому что я, разделяя вместе со всеми восхищение пьесами Чехова и его мастерскими новеллами, тем не менее больше всего ценю его путевые заметки — знаменитую «Поездку на Сахалин». Уже сама отвага замысла, особенно в соединении с внешне бесстрастной и точной описательностью, это умение не скрывать тенденцию, но и не выпячивать ее, это особое благородство прозы... Нет, Чехов — писатель поистине уникальный.

Знаком я со многим из того, что появилось позднее, но не хотел бы что-либо выделять, чтобы не смазать впечатление от тех трех примеров, что я привел. Упомяну разве что удовольствие, с которым читал «Мастера и Маргариту». Из числа новинок отмечу роман Рыбакова «Дети Арбата». Да, да, я понимаю: люди литературно избалованные могут быть недовольны старомодностью его письма. И все-таки в общественном отношении появление таких информативных книг, на мой взгляд, благотворно. Все мы желаем добра перестройке, более того, живем ею, теми надеждами, которые она пробуждает. И появление таких книг, как «Дети Арбата», укрепляет наши надежды.

ЭРНСТ ЮНГЕР⁷

Что же, для меня при слове «Россия» всплывает вся многовековая проблематика отношений Востока и Запада, достигшая пика, может быть, в бранном споре Александра Первого с Наполеоном. Сразу за этим идет, конечно, великая русская литература, начиная примерно с Аксакова, с его описаний бытовой колонизации русского Востока. Затем, разумеется, Достоевский, Толстой. Помню, у нас были вечные

⁷ См. о нем ст. А. Карельского в «ИЛ», 1964, № 4.

домашние распри с первой женой — кто более велик из этих двоих великанов. Она отстаивала интересы Толстого, я — Достоевского. Полюбил я его очень рано и страстно. Один год моей жизни вообще целиком прошел под знаком Достоевского — никого другого я тогда читать просто не мог. Какой это был год? Тысяча девятьсот десятый. Я тогда учился в гимназии в Ганновере. До сих пор помню бурю в душе, поднятую романом «Преступление и наказание». Свой психологический лот Достоевский опустил на самую большую глубину — во всей мировой литературе. После этого обязательного тогда чтения я уже не мог оторваться от Достоевского, пока не прочел его всего. В дальнейшем вышли даже литературоведческие работы, «подверстывавшие» меня под Достоевского. Не думаю, однако, что в таких сопоставлениях много смысла. Достоевский — универсум, в него, как в резиновый автобус, можно при желании запихнуть всех писателей XX века.

В более зрелые годы свой интерес к России я удовлетворял чтением в основном политических сочинений — не столько русских, сколько вышедших в Англии, Франции, Германии. Из русских писателей XX века мне более других знаком Горький.

Мои личные впечатления от России приходятся на особое время. Я ведь был послан туда в разгар войны из Франции Роммелем и другими генералами, полагавшими, во-первых, что мне, автору такого «пробольшевистского» сочинения, как «Рабочий», будет любопытно взглянуть на страну победившего социализма вблизи, и надеявшимися, во-вторых, с моей помощью прошупать настроения русского генералитета. Ведь у нас уже тогда вынашивался антигитлеровский заговор генералов. Вот участникам заговора и хотелось узнать, нет ли подобного антисталинского заговора в России и нельзя ли договориться с русскими генералами на предмет параллельного свержения деспотии. Однако, побывав на нескольких допросах русских генералов, я был вынужден разочаровать немецких коллег: у меня сложилось впечатление, что русским, прижатым к стене, не до интриг. Помню, на Кавказе во время допроса пленного русского офицера я спросил его через переводчика-прибалта: «Как вы относитесь к советскому режиму?» На что последовал гордый ответ: «Такие вопросы с посторонними не обсуждают». Этот ответ меня восхитил. Это была словно бы живая сцена из «Войны и мира». Вообще же Кавказ произвел на меня грандиозное впечатление. Он был так величествен, что я надолго забывал о войне и удивлялся, когда слышал грохот орудий.

В последние годы политические события в России приковали, естественно, и мой интерес. Но я не хотел бы торопиться с выводами и заключениями. Для них, по моему, еще не настало время. Надежды надеждами, а реальность реальностью. Так что поживем — увидим.

Возвращаясь же к литературе — вот, взгляните на эти полки, видите издания русских классиков в роскошных переплетах двадцатых годов. Для нас, стариков,

нет большего удовольствия, чем перечитывать давно читанное — словно встречаешься со своей молодостью. Русские классики, пожалуй, из тех, кого я перечитываю особенно часто и охотно. Только в самое последнее время я перечитал таким образом «Отцов и детей» Тургенева, «Тараса Бульбу» — ах, какая вещь! — и «Ревизора», которого помню с раннего детства, это была любимая пьеса моего отца. Кроме того, вновь и с огромным наслаждением перечитал ранние повести Достоевского, почти забытые мною. И «Бесов», забыть которых невозможно. Редчайшей, пророческой силы книга! Она ведь, кажется, была запрещена в России? Теперь популярна? Ну, ну. Поживем — увидим.

ЗИГФРИД ЛЕНЦ⁸

Мне было тринадцать, когда началась вторая мировая война. Пятнадцать — когда немецкая армия напала на Советский Союз. Война ворвалась в мое сознание неожиданно. Помню, меня поразила деталь: в Германию еще прибывали поезда с советскими товарами, а немцы уже бомбили советские железные дороги. В школе мы постоянно слышали об успехах вермахта, о том, сколько русских взято в плен. О судьбе этих пленных мы тогда не задумывались. Время шло, война длилась. На последнем ее году призвали и меня — служить во флоте, на Балтике. Первых русских пленных я увидел в Копенгагене, они грузили уголь в порту. Один из них предложил нам вырезанную из дерева птичку в обмен на что-нибудь съестное. Это было незадолго до окончания войны. Вскоре я перебрался из Дании к себе в Гамбург. Стал работать и вечерами учиться в университете. Времени было в обрез. И все же его хватало на чтение Достоевского, Толстого, Тургенева. Наибольшим событием стал Достоевский — и остался им до сих пор. Дважды в жизни я внимательнейшим образом прочел полное собрание его сочинений. Не раз писал о нем. Однажды — в компании с Бёлем, Носсаком и Мальро — выпустил о нем книгу статей. Недавно опубликовал отдельную брошюру о нем под названием «Верующий скептик». Название, думаю, говорит само за себя.

В молодости мне, бедному студенту в каморке, ближе всех был Раскольников. Эти горести и порывы ущемленного индивида — все это было мое. В этих перекоках разгоряченного сознания с Наполеона на старуху-процентщицу было для меня что-то демонически притягательное.

За Достоевским, как я уже сказал, последовали Толстой, Тургенев, другие «помещики». Проснулся интерес к политике, к философии — я стал читать Бердяева. Россия все больше представлялась мне страной небывалого опыта и страстей, подчас темных, опасных, заряженных угрозами со стороны власть имущих. Что-то подобное чудилось и в истории ее, особенно петровских времен: этот экспансионистский размах, не ведающий предела. Интерес к

русской истории подогревался и тем, что генеалогия русских правителей нередко восходит к немецким корням — Екатерина Вторая и многие другие русские венценосцы были или немцами, или в родстве с немцами.

Меня всегда завораживали в русской литературе ее, так сказать, невыдуманные, трагические детективы — от «Записок из Мертвого дома» до «Архипелага ГУЛАГ», до Дудинцева, Трифонова, Распутина и прочего в том же роде. В целом же, конечно, можно сказать, что Россия — сверхдержава в литературе.

Вот у меня на полке стоит полный Набоков. Мастер изумительный. Но для меня он немного не русский, что ли. Возьмите даже биографию его: Петербург, Кембридж, Берлин, Париж, Соединенные Штаты, наконец Швейцария, Женевское озеро, где он умер. Везде жил и везде писал — и писал блестяще! Но если спросить, чьи-ли именами помечен для меня русский духовный континент, то Набоков как-то не придет и в голову. Достоевский — да, в первую очередь! Набоков же мало влияет на мой «образ России». Как, впрочем, и Булгаков. «Мастер и Маргарита» — это великолепно, превосходно! Но это не Чехов, в котором мне слышится голос самой России. Платонова я еще не читал — мое упущение. Вообще упущений в моем чтении очень много. И чем старше я становлюсь, тем болезненнее их воспринимаю. Но как мало у всех у нас времени — а ведь есть еще и другие литературы!.. Я читаю многих американцев, французов, скандинавов. Но если коллеги или дипломаты обращают мое внимание на какую-нибудь сенсационную новинку из России, стараюсь ознакомиться с ней непременно. Хотя, должен признаться, в последнее время явно перевешивают интересы политические. Ведь то, что происходит теперь в Советском Союзе, и для нас имеет огромное значение — как и для всего человечества. Я бы даже так сказал: вот появись сейчас из наследия Набокова какой-нибудь неизвестный роман — Набоков, кстати, превосходнейшим образом переведен на немецкий, а переводил его сам издатель Ровольт — и в то же время окажись в поле моего зрения переводы каких-нибудь острых статей из «Правды» или «Литературной газеты», я хоть и писатель и так далее, скорее прочту эти статьи, чем Набокова.

В «Литературке», кстати, кажется, была помещена моя речь по случаю получения Премии мира. Но экземпляра газеты я так и не получил.

Понятна притягательность публицистики — такой сейчас момент. Именно публицистика может поддержать перестройку всего эффективнее. Художественные вещи не могут быть откликом на злобу дня. Я вообще не думаю, что настоящая литература может служить какой-либо доктрине непосредственно, а писатель — быть «инженером человеческих душ». Слишком разные задачи у политики и литературы. Хотя цель у политиков и писателей, как и у всех людей вообще, одна — разумное устройство жизни.

Что же касается личных впечатлений от русских писателей, то я бы выделил дво-

⁸ В «ИЛ» опубликованы роман З. Ленца «Урок немецкого» (1971, № 5—7) и рассказы (1977, № 1; 1989, № 6; 1990, № 5).

их — Федора Степуна, который жил в эмиграции где-то на юге Германии, и поэта Андрея Вознесенского. Оба поразили меня своей громогласностью. Вы знаете, Вознесенский ведь всегда читает свои стихи, будто он на стадионе — даже если дело происходит в такой вот небольшой комнате, как мой кабинет. Он все равно что набат: бум! — и стекла звенят, как в «Жестяном барабане» у Грасса. Таким же был и Федор Степун — колоритнейшая личность. Помню, влетел к нам в студию, как ураган, — я тогда работал редактором на гамбургском радио. Мы придумали серию «Свидетели эпохи» или что-то в этом роде. Приглашали и известных писателей — Вильгельма Лемана, Рудольфа Александра Шрёдера, других стариков. Степун рассказывал нам о февральской революции в России, о Керенском, Савинкове. Рассказчик был удивительный, впечатление произвел неотразимое. Один из славной плеяды русского духовного Ренессанса начала века.

Недавно я прочитал вышедшую у нас книгу «Русский Берлин» — о русских эмигрантах двадцатых годов. Какие имена! Какой небывалый расцвет культуры! Понимаю, что вы связываете с перестройкой надежды на возрождение этой культуры. От всего сердца желаю вам в этом успеха!

ВАЛЬТЕР ЙЕНС

При слове «Россия» у меня, естественно, первым делом возникают литературные ассоциации. Началось это давно и, как у многих, — с Достоевского. Уже в двенадцать лет я прочел «Преступление и наказание», потом «Бесов». И до тех пор, пока я не познакомился с Шекспиром, Достоевский оставался для меня самым большим потрясением, вынесенным из чтения иноязычной литературы. Позже и уже гораздо спокойнее я прочел всего Толстого. А еще позже познакомился с Чеховым, который и стал моим, так сказать, домашним богом, в какой-то роли он пребывает и до настоящего времени. Причем трудно даже сказать, кто для меня важнее — Чехов-новелист или Чехов-драматург. Сам я хоть и пишу прозу, но не упускаю случая увидеть Чехова на сцене. Вот недавно съездил даже с этой целью в Гамбург, на другой конец Германии.

Я ни разу не был в Советском Союзе, так что мое знакомство с этой страной носит сугубо литературный характер, как, впрочем, и с большинством других стран мира. По правде сказать, я даже несколько побаиваюсь знакомства с самой действительностью и не потому, что опасаюсь разочарований, а потому, что не хотел бы ничем повредить тому прекрасному и гармоничному образу, который возник у меня при чтении.

Что же до действительности, то большим событием моей внутренней жизни было освобождение Советской Армией Германии от фашизма. Надо сказать, что и в силу домашнего воспитания, и в силу выработанных убеждений я был ярким антифашистом. Не коммунист и не марксист, но достаточно радикальный демократ. По-

мню, с каким замиранием сердца слушал тайком сообщения зарубежного радио о приближении армий Рокоссовского, Конева и Жукова. И те ужасы, которые происходили на нашей земле, воспринимались мной спокойно — как расплата за то, что мы натворили в России. Я и до сих пор на всевозможных дискуссиях люблю повторять — да не все любят это слушать, — что этой небывалой свободой обмена мнениями, как и самим тем обстоятельством, что наши споры не осеняет свастика, мы обязаны не только Джону и Жаку, но и Ивану... К моему величайшему счастью, я, дожив до шестидесяти лет, никогда не читал Тургенева. К счастью, потому что не все же забирать себе молодости и в преклонные годы хочется получать от судьбы такие подарки. Прозу Пушкина я тоже прочел очень поздно, и если бы вы знали, как я завидую людям, которым предстоит прочитать ее в первый раз. Я говорю только о прозе, потому что сколько-нибудь адекватного отношения к русской поэзии у меня нет, да и быть не может, если вспомнить о том, какая несовершенная вещь поэтический перевод. Даже хваленый Хупперт явно сделал из Маяковского что-то не то. Удаchi крайне редки. К ним я бы отнес переводы Пауля Целана из Блока, Ахматовой, Мандельштама. Но ведь Целан сам был великий поэт. Пушкина наши великие не переводили, вот он и звучит по-немецки как-то торжественно-деревянno. Поэтому подлинные мои открытия в русской литературе лежат в области драматургии и прозы. Из прозы XX века я бы отметил Бабеля, Владимира Набокова, Леонида Леонова с его «Вором», которого прочел еще в нацистские годы. Этот автор и до сих пор сравнительно мало известен на Западе, но меня это мало смущает, я-то убежден, что «Вор» — один из лучших романов XX века.

Однако в целом должен признаться, что познания мои в русской литературе хоть и очень интенсивны по переживаниям, но и очень эклектичны. Слишком много приходится читать другой литературы — на немецком, латинском, древнегреческом, других языках. И слишком мало всем нам отпущено времени. Сколько-нибудь профессионально я занимался только Достоевским. Однажды у меня был публичный диспут с известным теологом Хансом Кюнггом, также живущим в Тюбингене, на тему «Литература и религия». Вот в связи с этим мне и пришлось заняться Достоевским, и я опубликовал о нем эссе, где сравниваю его с Кьеркегором.

Нельзя не отметить также, что в круг моего постоянного чтения входят различные путевые очерки и заметки. С большим интересом, помню, читал зарисовки из Советского Союза, принадежащие перу таких авторов, как Оскар Мария Граф, Армин Вегнер и другие. Меня всегда интересовало, что пишут об СССР западные писатели. Часто их размышления о России связаны с реакционным антизападничеством, с представлением о России как стране, которая ближе к Богу, чем растленный Запад, и все такое прочее. Достаточно вспомнить хотя бы «Размышления аполитичного» Томаса Манна, книги Кай-

зерлинга, Рильке, Касснера. И подобных примеров немало. Правда, такая позиция не всегда была реакционной. Взять хотя бы знаменитого мюнхенского антифашиста Ханса Шолля, казненного гестапо. Какое мужество надо было иметь, чтобы в те годы утверждать: русские — это вам не «недочеловеки», это все та же «великая святая Россия». Вот случай, когда антилиберальный, консервативный пафос был переацентрирован, перевернут.

Конечно, серьезный барьер — язык. В прежние поры многие интеллигенты — да и не только интеллигенты, но и такие люди, как Бисмарк, бывший одно время посланником в Петербурге, — изрядно знали русский язык. Теперь это редкость. Правда, недавно наш известный славист Лудольф Мюллер, наслышанный о моем интересе к России, предложил организовать что-то вроде «курсов русского языка для пенсионеров». Но тут же и припугнул, что для того, чтобы читать Достоевского, понадобится три года. Боюсь, что для меня это уже утопия. А хотелось бы!

Русская литература осветила такие сферы, которые оказались недоступными западной литературе: душевные бездны человека, его постоянную готовность соскользнуть в экстаз или в грезы. Ведь все это прерогатива не одного Достоевского, все это чувствуется в любом, безобидном или даже поверхностном с виду диалоге у Чехова: ощущение, что в любой миг такой обыденной нашей жизни может произойти что-то ужасное, чудовищное, неправимое. Таким образом, самые основы человеческого существования затрагиваются русской литературой гораздо непосредственнее, чем немецкой, французской или английской. Эта близость неба и ада... Возьмите хоть «Войну и мир». Описываются ли военные действия, воспроизводятся ли салонные разговоры, постоянно это присутствие еще чего-то необыкновенно

существенного, чего-то незримого, какой-то метафизической меры и тайны нашей жизни, этого «не хлебом единым»... И вот эта традиция дорога мне и в русской литературе XX века — у Бабеля, Леонова, Алексея Толстого.

Мои же представления о текущей советской литературе — самые отрывочные и случайные. Так, по случаю приезда в Тюбинген Михаила Шатрова меня попросили провести дискуссию по его пьесе «Дальше... дальше... дальше!» Меня это заинтересовало в связи с повсюду обсуждаемой проблемой гласности и перестройки. Мне только показалось странным, что вашим общественным сознанием как-то совершенно игнорируется опыт Розы Люксембург. А уж если кто-то и был глашатаем и провозвестником современной гласности, современного понимания социализма как развитой демократии, так это она. И она же предупреждала: диктатура пролетариата легко может превратиться в диктатуру над пролетариатом. Именно эти идеи нахожу я теперь на страницах «Московских новостей», которые регулярно читаю в английском варианте. Полагаю, что пересмотр классического наследия вообще должен быть постоянной потребностью культуры. Пантеон следует выстраивать во всякую эпоху заново критике и литературоведению. Так и в немецкой литературе: все более гигантской представляется, например, фигура Ницше и все более сомнительной — фигура Геббеля, а ведь когда-то они казались стоящими на одинаковой высоте. Мне кажется, перестройка многое перестроит в ваших представлениях о культурных ценностях. И рано или поздно перестроит некоторые институты, ведающие, так сказать, сохранением огня — например, православную церковь, которая неминуемо будет играть все большую роль в общественных процессах.